

Монах и дети

Иван Мешалов
Николай Глазов



Иван Мешалов

Монах и дети

«Автор»

2026

Мешалов И. Д.

Монах и дети / И. Д. Мешалов — «Автор», 2026

Посёлок Верхнее теряет детей. Двенадцатилетний Матвей и десятилетний Ваня похищены человеком, потерявшим дочь и жену. Он ненавидит Бога и убивает детей, чтобы доказать: небо молчит. В подвале, среди детских царапин, братья находят Евангелие с закладкой на странице о воскресении мёртвых и встречают духа убитого мальчика Артёма. Через простую детскую молитву они обретают свет, который сильнее тьмы. Это православный хоррор о самом страшном и самом светлом: о том, что зло не побеждается злом, покаяние реально, а смерть — не конец. Для всех, кто помнит слова: «И многие тела усопших святых воскресли». История о том, как детская вера и простая молитва побеждают отчаяние и ненависть.

© Мешалов И. Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Повесть Монах и дети	5
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Монах и дети

Повесть Монах и дети

*Родному младшему брату моему Ивану Дмитриевичу Мешалову —
посвящается.*

От Глазова Николая Александровича

Жанр: православный хоррор
Авторы: Глазов Николай Александрович
Иван Дмитриевич Мешалов

Аннотация

«Монах и дети»

Они думали, что Бога нет. Они ошибались.

Посёлок Верхнее теряет детей. Тихий ноябрьский туман скрывает то, что лучше не видеть. Двенадцатилетний Матвей и десятилетний Ваня ещё не знают, что за ними уже следят. Что в глубине леса, в доме из чёрных брёвен, живёт человек, который двенадцать лет кричит в пустоту — и не получает ответа.

Он не монстр. Он — отец, потерявший дочь. Он — верующий, которому Бог не ответил. И теперь он доказывает всем — и себе, — что небо молчит.

Матвей и Ваня окажутся в подвале, где на кирпичах остались детские царапины. Где пахнет землёй и страхом. Где нет ни окон, ни времени, ни надежды.

Но в темноте есть свет.

Есть мальчик по имени Артём, умерший здесь пять лет назад. Есть старая книга, спрятанная в стене, с закладкой на странице о воскресении мёртвых. Есть молитва — простая, детская, неумелая, — которая вдруг начинает звучать громче, чем крик.

И есть Тот, Кто не оставляет. Даже там. Даже тогда. Даже когда кажется, что всё кончено.

«Монах и дети» — православный хоррор о самом страшном, что может случиться, и о самом светлом, что может родиться из этого ужаса. Книга о том, что зло не побеждается злом. Что покаяние — реально. Что смерть — не конец.

Для тех, кто помнит слова: «И многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим» (Мф. 27:52–53).

Часть 1

Глава 1. Тишина перед бурей

Посёлок назывался Верхнее, и в этом названии чудилась насмешка: стоял он в низине, у самого края болота, и весной туман поднимался так высоко, что казалось — небо опустилось на землю и задушило её в сырых объятиях.

Матвей проснулся первым. Он всегда просыпался первым — с тех пор, как ему исполнилось двенадцать и отец сказал: «Ты старший. С тебя — спрос». Слова эти вонзились в него, как гвоздь, и он носил их в себе, не жалуясь. Старший — значит, ответственный. Старший — значит, не бояться. Старший — значит, не плакать, даже когда очень хочется.

Он лежал на узкой кровати, слушая, как за тонкой перегородкой сопит Ваня. Младшему брату было десять, и он ещё умел спать так, как умеют только дети и праведники, — безмятежно, всем телом, свернувшись калачиком. Матвей завидовал этой способности. Сам он спал чутко, просыпаясь от каждого скрипа половиц, от каждого вздоха старого дома, который, казалось, дышал по ночам, как уставший зверь.

За окном было серо. Не рассвет, а его тень. Ноябрь в Верхнем — это не месяц, а состояние души: бесконечная, давящая хмарь, когда солнце если и показывается, то только для того, чтобы напомнить, как его не хватает.

Матвей сел, опустил босые ноги на ледяной пол. Поёжился. Печка, которую бабушка топила с вечера, давно остыла, и в комнате стоял тот особенный холод, который бывает только в старых деревенских домах — холод, пропитавший стены, пол, сам воздух.

— Вань, — позвал он тихо.

Ответа не было. Только сопение стало чуть громче, а потом сменилось недовольным ворчанием.

— Ваня. В школу.

— Не пойду, — пробормотал брат, не открывая глаз. — Живот болит.

— Врёшь.

— Не вру. Честно. Вот здесь болит. — Ваня ткнул пальцем куда-то в область пупка, не переставая при этом улыбаться.

Матвей вздохнул. С Ваней всегда было так: он умел превратить любую обязанность в игру, а любое нытьё — в шутку. Мать говорила: «Ваня у нас солнечный». И это было правдой. Даже сейчас, в сером предрассветном сумраке, от него исходило какое-то тепло — упрямое, неистребимое.

— Вставай, — сказал Матвей, но без нажима. — Бабушка кашу сварила.

— С маслом?

— С маслом.

Ваня открыл один глаз, потом второй. Улыбнулся.

— Тогда встаю.

Бабушка сидела у окна, перебирая чётки. Она делала это каждое утро — неспешно, будто пересчитывая не бусины, а собственные грехи. Лицо у неё было тёмное, как старая икона, и такое же — с проступающими сквозь морщины следами чего-то давнего, глубокого, непонятного детям.

— Ба, — сказал Ваня, плюхаясь за стол. — А почему ты всегда молчишь, когда молишься?

Бабушка подняла на него глаза. В них не было укора — только усталая нежность.

— Потому что слова — это не главное, — ответила она. — Главное — чтобы душа слушала.

— А что она слушает?

— Бога.

Ваня нахмурился, переваривая. Матвей молчал. Он не любил эти разговоры. Не потому, что не верил — он верил, как верил в то, что за окном есть лес, даже если его не видно в тумане. Просто в бабушкиных словах было что-то такое, от чего становилось не по себе. Слишком серьёзное. Слишком взрослое. Словно она знала что-то, чего не знали они.

— Ешьте, — сказала бабушка, поднимаясь. — И в школу. Нечего тут рассиживаться.

Она ушла в свою комнату — маленькую, заставленную иконами, где пахло ладаном и воском. Матвей проводил её взглядом. В последнее время бабушка стала чаще уходить туда, подолгу стояла на коленях перед образами, и лицо у неё после этого было... странным. Не просветлённым, а каким-то отсутствующим, будто она видела то, чего не должны видеть живые.

— Матвей, — сказал Ваня, жуя кашу. — А помнишь, дядя Толя говорил, что в лесу кто-то пропал?

— Помню.

— И что это был за человек?

— Не знаю. — Матвей отвёл взгляд. — Взрослый. Чужой.

— А почему он пропал?

— Ваня.

— Ну почему?

— Потому что лес большой, — сказал Матвей, и голос его прозвучал резче, чем он хотел.
— И потому что не надо ходить туда, куда не следует.

Ваня замолчал. Но в его глазах не было страха — только любопытство. То самое детское любопытство, которое Матвей в себе уже почти задавил, а в брате почему-то не мог.

Дорога до школы занимала двадцать минут. Она шла через поле, мимо старой водонапорной башни, а потом сворачивала к посёлку. Утром здесь было пусто — только вороны на проводах, нахохлившиеся, чёрные, похожие на чётки, которые перебирает невидимая рука.

Матвей шёл впереди. Ваня — чуть отстав, пиная ногами мокрые листья. Поле было серым, трава — пожухлой, и туман стоял такой густой, что дальние дома казались призраками, готовыми в любой момент растаять.

— Матвей, — сказал Ваня.

— Что?

— А если мы встретим того, кто пропал?

— Никого мы не встретим.

— А если?

— Тогда мы убежим.

— А если он быстрее?

Матвей остановился. Обернулся. Ваня смотрел на него серьёзно, без улыбки, и в его глазах было что-то такое, от чего у Матвея сжалось сердце.

— Тогда я тебя защищу, — сказал он.

Это была не храбрость. Это была необходимость. Потому что если не он, то кто?

Ваня кивнул. И снова улыбнулся — легко, как будто ничего и не было.

— Ладно. Пойдём.

Они пошли дальше. Туман смыкался за их спинами, и поле, и башня, и посёлок — всё исчезало, будто их никогда и не было. Только две маленькие фигурки, две тени, бредущие сквозь серое ничто.

Он стоял на опушке леса и смотрел.

Алексей — так его звали, хотя это имя он давно уже не носил даже в мыслях, — был высок, худ, с длинными, чуть скрюченными пальцами, которые постоянно двигались, будто

что-то перебирали. На вид ему можно было дать и сорок, и шестьдесят. Лицо — серое, как это утро, с глубоко посаженными глазами, в которых не было ничего, кроме внимания.

Он умел смотреть. Это было его единственное искусство — и, пожалуй, самое страшное. Он мог стоять часами, не двигаясь, не дыша почти, и наблюдать. За людьми. За детьми. За тем, как они ходят, как смеются, как держатся за руки.

Эти двое держались за руки. Старший вёл младшего, и в его движениях была та настороженность, которая говорила: он уже чувствует. Не понимает — но чувствует.

Алексей улыбнулся. Медленно, одними губами.

«Хорошо, — подумал он. — Пусть чувствует. Страх — это не грех. Страх — это честность».

Он знал о них всё. Знал, что их зовут Матвей и Иван, что им двенадцать и десять, что живут они с бабушкой, потому что мать умерла, а отец уехал на заработки и не вернулся. Знал, что бабушка — верующая, что в доме у них иконы, что мальчики крещёные, но в церковь ходят редко.

Знал он и другое. То, чего не знал никто.

Он знал, что Бог — если Он есть — не защищает невинных. Не спасает детей. Не отвечает на молитвы. И доказательство этому Алексей носил в себе, как рану, которая никогда не заживёт.

Он смотрел, как братья удаляются, как туман поглощает их — сначала ноги, потом спины, потом головы. И когда они исчезли совсем, он закрыл глаза и сделал то, что делал всегда перед началом: перекрестился.

Не потому, что верил. А потому, что помнил. Помнил, как это делается. Помнил, как это делала она.

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

Слова выходили сухими, мёртвыми, как осенние листья. Но он всё равно их произносил. Каждый раз. Как ритуал. Как насмешку. Как вызов.

Потом открыл глаза и пошёл следом.

Вечером того же дня Матвей сидел у окна и смотрел, как темнеет. Ваня уже спал — умаялся, набегался, нахохотался. Бабушка молилась в своей комнате, и оттуда доносилось тихое, неразборчивое бормотание.

Матвей не любил это время суток. Не потому, что боялся темноты — он давно уже убедил себя, что не боится. Просто в сумерках мир становился другим. Знакомые вещи — стол, стулья, занавески — приобретали странные очертания, будто жили своей, тайной жизнью. А за окном, в поле, где-то там, в темноте, было что-то.

Он не знал что. Но чувствовал.

Сначала это было смутное беспокойство, как зуд под кожей. Потом — отчётливое ощущение, что на него смотрят. Не бабушка, не Ваня. Кто-то другой. Извне.

Матвей вглядывался в темноту, но ничего не видел. Только собственное отражение в стекле — бледное, тонкое, с широко раскрытыми глазами.

«Померещилось», — сказал он себе.

Но когда он отвернулся, чтобы задернуть занавеску, ему показалось, что в глубине поля, у самой опушки леса, блеснула — на одно мгновение — маленькая, холодная точка света. Как будто кто-то зажёл спичку. И тут же погасил.

Матвей замер. Сердце ударило в груди, сильно, больно.

Он снова посмотрел. Но там было только чёрное ничто. Ни огня, ни человека. Ничего.

— Матвей? — раздался голос Вани из-за перегородки. Сонный, встревоженный. — Ты чего не спишь?

— Сейчас, — ответил он, и голос его звучал спокойно, хотя внутри всё сжалось в тугую комок. — Засыпай.

Он задернул занавеску. Потом ещё раз проверил задвижку на двери — просто так, на всякий случай. Лёг. Закрыл глаза.

Но сон не шёл. В голове стучала одна и та же мысль, навязчивая, как удары сердца: «Он смотрит. Он всегда смотрит».

Матвей повернулся на бок, лицом к стене. В темноте, на старых обоях, он вдруг увидел узор, которого никогда раньше не замечал: тонкие, переплетающиеся линии, похожие на... он не понял на что. На корни. На паутину. На что-то живое и ждущее.

Он закрыл глаза и стал молиться. Так, как учила бабушка. Без слов. Просто чтобы душа слушала.

И где-то в глубине этой тишины — той самой, что стояла за окном, в поле, у опушки леса, — ему почудился тихий, едва различимый смех. Не злой. Не добрый. Просто — детский.

Как будто плакал ребёнок. Или смеялся. Он не мог понять.

А потом всё стихло. И Матвей провалился в сон — тяжёлый, без сновидений, как в чёрную воду.

За окном, в темноте, на опушке леса, Алексей опустил руку с зажигалкой. Огонёк погас.

Он улыбнулся — на этот раз по-настоящему, широко, обнажив зубы.

«Скоро, — подумал он. — Совсем скоро».

И растворился в темноте, как будто его никогда и не было. Только туман — густой, тяжёлый, живой — медленно пополз к посёлку, обволакивая дома, деревья, дороги. Как саван. Как предчувствие.

В доме, где спали Матвей и Ваня, скрипнула половица. Сама по себе. Бабушка, стоявшая на коленях перед иконами, вздрогнула и перекрестилась.

— Господи, спаси и сохрани, — прошептала она. — И помилуй нас, грешных.

Свеча перед образом святого отрока Артемия дрогнула. Пламя на мгновение вытянулось, стало ярче — а потом снова опало.

И в этом слабом, дрожащем свете на иконе будто бы на миг проступило лицо — не нарисованное, а живое. Детское. Скорбное.

Бабушка замерла. Сердце её сжалось.

— Артемий, — прошептала она. — Отрок Божий. Не оставь их.

Ответа не было. Только тишина. Та самая тишина, которая бывает перед бурей.

И где-то далеко, за много вёрст от Верхнего, в маленьком монастыре, старый монах, читавший Псалтирь, вдруг поднял голову и посмотрел в окно. Ночь была чёрной, непроглядной.

— Грядет, — сказал он тихо, ни к кому не обращаясь. — Грядет испытание. Господи, укрепи.

Он перекрестился и снова склонился над книгой. А в небе — тёмном, пустом, беззвёздном — не было ни знамения, ни света. Только тьма. Только ожидание.

Только тишина.

Глава 2. Взгляд из тьмы

Он жил в лесу.

Не в сторожке, не в землянке — в настоящем доме, сложенном из тёмного, почти чёрного дерева, которое он сам обтёсывал три года. Дом стоял в самой глухой чаще, куда не вели ни тропы, ни звериные тропинки. Если бы кто-то и забрёл сюда, то решил бы, что это морок, наваждение — слишком уж не к месту, слишком уж чужеродно смотрелось это строение среди кривых елей и бурелома.

Но никто не забредал. Алексей позаботился об этом.

Внутри пахло воском, ладаном и чем-то ещё — тяжёлым, сладковатым, от чего кружилась голова. В красном углу — там, где у верующих обычно стоят иконы — висело распятие.

Не простое, не медное — большое, деревянное, с искусно вырезанным телом Христа. Алексей сделал его сам. Он вообще многое делал сам: резьба по дереву была его ремеслом, его искусством, его проклятием.

Под распятием стоял маленький столик, накрытый белой скатертью. На столике лежали: свеча, нож, тетрадь в чёрной кожаной обложке и фотография. Старая, выцветшая, с загнутыми углами. На фотографии улыбалась женщина с ребёнком на руках. Девочка. Лет пяти. Светлые волосы, ямочки на щеках.

Алексей сидел перед столиком на табурете, не двигаясь. Он умел сидеть так часами. Смотреть на фотографию. Молчать.

Свеча горела ровно, но тени в комнате почему-то колебались, будто от сквозняка. Сквозняка не было — окна были заколочены, дверь обита войлоком. И всё же тени жили своей жизнью: то вытягивались, то сжимались, то принимали очертания, которых не должно было быть.

Алексей не обращал на них внимания. Он давно перестал бояться теней. Тени — это просто отсутствие света. А свет... свет он ненавидел.

Двенадцать лет назад его звали иначе. Алёшей. Лёшенькой. Отцом. Мужем.

Он был хорошим человеком. Правда, хорошим. Ходил в церковь по воскресеньям, помогал в приходе — вырезал киоты для икон, чинил скамейки, мастерил полки для библиотеки. Батюшка его любил, говорил: «Из тебя бы монах вышел, Алексей. Настоящий монах». А он смеялся: «Куда мне, батюшка. У меня жена, дочка. Я в миру служить буду».

Он и служил. Работал в столярной мастерской, зарабатывал немного, но на жизнь хватало. Жена, Наташа, преподавала в воскресной школе. Дочка, Ксения, ходила в детский сад. Жили они в маленьком городе, в квартире на пятом этаже, и были счастливы. По-настоящему счастливы. Так, как бывает только в молодости, когда кажется, что впереди — вся жизнь, и эта жизнь будет долгой, светлой, безоблачной.

Ксения любила рисовать. Ей было пять, но она уже рисовала так, что воспитатели ахали. Ангелов. Церкви. Солнце. Мама, папа и она — три фигурки, держащиеся за руки, под радугой.

— Пап, — спрашивала она, — а ангелы правда есть?

— Правда, — отвечал он.

— А они нас видят?

— Видят.

— А если я буду плохо себя вести, они расстроятся?

— Расстроятся.

— Тогда я буду хорошо. Чтобы они радовались.

Она смеялась, и ямочки на щеках становились глубже. Она была светом. Настоящим, живым светом. И Алексей думал: вот оно, счастье. Вот оно, Царствие Божие, пришедшее в силе.

А потом Ксения заболела.

Сначала — обычная простуда. Потом — температура, которая не спадала. Потом — больница, капельницы, врачи с каменными лицами. Диагноз прозвучал как приговор: лейкоз. Острый. Скоротечный.

Он молился. Как никогда в жизни. Стоял на коленях перед иконами, бил поклоны, шептал слова, которые, казалось, должны были растопить небо. Наташа молилась рядом. Батюшка служил молебны. Приход собирал деньги на лечение.

Ксения умирала три месяца. Медленно, мучительно, на глазах. Она уже не рисовала — руки не держали карандаш. Она уже не смеялась — сил не было. Только смотрела на отца огромными, всё понимающими глазами и иногда спрашивала:

— Пап, а ангелы меня заберут?

— Нет, — говорил он, и голос его рвался. — Не заберут. Ты будешь жить.

— А если заберут?

— Тогда я их не пущу.

Она слабо улыбалась. И закрывала глаза.

В последнюю ночь — он помнил это с мучительной, кристальной ясностью — Ксения вдруг открыла глаза и посмотрела не на него, а куда-то вверх. В потолок. В пустоту. И сказала отчётливо, ясно:

— Ангел.

Потом вздохнула. И не вздохнула больше.

Похороны были серыми. Как этот ноябрь. Как всё в этом мире, где умирают дети.

Алексей стоял у могилы, держал Наташу за руку, и не чувствовал ничего. Только пустоту. Огромную, зияющую, как провал. Он смотрел на маленький гробик — белый, с золотыми ангелочками по углам, — и в голове билась одна мысль, навязчивая, как удары сердца:

«Ты не спас её. Ты мог. Ты должен был. Но Ты не спас».

Он не сказал этого вслух. Но это было первое, что он подумал о Боге. Первое, что прозвучало в нём — не как вопрос, а как обвинение.

Наташа умерла через полгода. Не от болезни — от тоски. Просто легла спать и не проснулась. Врачи сказали: сердце. Алексей знал: душа. Она не смогла жить без дочери. И оставила его одного.

Он остался. Один в квартире, где всё напоминало о них. Один с иконами, перед которыми молился. Один с распятием, на которое смотрел.

И однажды — это было ночью, после бутылки водки, которую он купил впервые в жизни, — он подошёл к красному углу и снял с гвоздя образ Спасителя. Долго держал его в руках. Смотрел в глаза Христа — кроткие, всепрощающие, всезнающие.

— Ты знал? — спросил он шёпотом. — Ты знал, что она умрёт? Ты мог её спасти? Мог?

Христос молчал. Смотрел с иконы — так же кротко, так же всепрощающе.

— Тогда зачем? — голос Алексея сорвался на крик. — Зачем Ты вообще? Зачем все эти молитвы, все эти свечи, все эти поклоны? Зачем Ты забрал её? Она была невинна! Она была чиста! Она верила в Тебя! Она рисовала Тебе ангелов!

Он швырнул икону об пол. Стекло киота разлетелось вдребезги. Христос упал лицом вверх, и в свете луны, пробивавшейся сквозь шторы, его глаза показались Алексею... пустыми. Деревянными. Мёртвыми.

— Нет Тебя, — прошептал он. — Нет. Никого нет. Ни Бога, ни ангелов, ни Царствия. Только смерть. Только боль. Только тьма.

Он упал на колени среди осколков и завыл. Долго, страшно, как раненый зверь. А потом затих. И в этой тишине — глухой, ватной, мёртвой — родился тот, кого теперь звали Алексей.

Он уехал из города. Продал квартиру, раздал вещи, сжёг фотографии — все, кроме одной. Той самой, где Наташа держит Ксению на руках. Единственное, что он оставил. Единственное, что он любил.

Поселился в лесу. Купил участок у старика-отшельника, который умер через месяц — как раз вовремя, чтобы Алексей смог занять его дом. Перестроил его. Обтёсывал брёвна, резал по дереву, молился — нет, не молился. Говорил с Богом. Но не как сын с Отцом, а как обвинитель с подсудимым.

Он не перестал верить в Бога. Это было бы слишком просто. Он возненавидел Бога. А ненавидеть можно только того, в кого веришь. Он верил — и потому ненавидел. Каждое утро, каждый вечер, каждую ночь.

И однажды — это случилось зимой, в самый глухой, самый тёмный месяц, — он понял, что должен делать.

Он читал Евангелие — не для того, чтобы найти утешение, а для того, чтобы найти доказательства. Доказательства того, что Бог несправедлив. Что Он не защищает невинных. Что все Его обещания — ложь.

И он нашёл. Нашёл место, где Христос говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное». Нашёл слова: «Пустите детей приходить ко Мне». Нашёл: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили в глубине морской».

«Вот оно, — подумал Алексей. — Вот оно, доказательство. Бог говорит, что любит детей. А дети умирают. Бог говорит, что защищает невинных. А невинные страдают. Бог говорит, что Он есть любовь. А вокруг — только боль».

И тогда он решил провести эксперимент. Проверить. Если Бог есть — если Он действительно защищает детей — то Он не допустит. Не допустит, чтобы с ними случилось то, что случилось с Ксенией. Не допустит, чтобы они страдали.

А если допустит... если Он снова промолчит...

«Тогда Его нет, — думал Алексей. — Тогда всё, что говорят о Нём, — ложь. И я это докажу. Я заставлю Его показать Себя. Или признать Своё бессилие».

Он начал с животных. С собак, кошек, птиц. Это было легко. Слишком легко. Животные не умели молиться. Не умели просить. Они просто умирали — и в их смерти не было ничего, кроме смерти.

Потом пришёл человек. Первый. Мужчина, заблудившийся в лесу. Алексей не хотел его убивать. Правда, не хотел. Но тот увидел дом. Увидел распятие. Увидел тетрадь. И Алексей понял: если он уйдёт, он расскажет. И тогда всё рухнет.

Он убил его быстро. Почти милосердно. И потом долго сидел над телом, ожидая... чего? Знамения? Голоса с неба? Огня, сходящего вниз?

Ничего не было. Только тишина. Только тьма. Только он — один, с окровавленными руками.

И тогда он понял: Бог молчит. Всегда. Всегда молчал. И всегда будет молчать.

«Хорошо, — сказал он себе. — Тогда я буду говорить. Я буду кричать. Я буду делать то, что заставит Его ответить. Или я умру, доказывая, что Его нет».

Дети стали его целью не сразу. Сначала он думал, что сможет остановиться на взрослых. На тех, кто грешил. На тех, кто заслуживал. Но это было не то. Не то.

Дети... дети были чисты. Невинны. Они были как Ксения. И если Бог не спасает их — значит, Он не спасает никого. Значит, Его нет.

Алексей начал с одного мальчика. Потом с девочки. Потом ещё. Он не получал удовольствия от их смерти — нет, это было бы слишком просто, слишком по-человечески. Он получал другое: доказательства. Каждая смерть была аргументом. Каждая — ударом по небу.

Он записывал всё в тетрадь. Чёрную, кожаную. Даты. Имена. Возраст. И — самое главное — молчание Бога. Он ждал. Ждал, что в какой-то момент небо разверзнется. Что ангел сойдёт вниз. Что Христос явится в славе. Что хоть что-то произойдёт.

Ничего не происходило.

И он продолжал. Потому что остановиться означало признать: всё было напрасно. Смерть Ксении. Смерть Наташи. Его молитвы. Его вера. Всё.

А он не мог этого признать. Не мог.

Сейчас, сидя перед фотографией, он смотрел на лицо Ксении и думал о Матвее и Ване.

Он наблюдал за ними три недели. Знал их распорядок, их привычки, их страхи. Знал, что Матвей боится темноты, хотя никогда в этом не признается. Знал, что Ваня верит в чудеса — и что эта вера раздражает старшего брата, хотя тот и не показывает вида.

Он видел, как они ходят в школу. Как Ваня пинает листья, а Матвей идёт впереди, настороженный, как маленький солдат. Видел, как они молятся перед сном — быстро, небрежно, как дети, которые делают это по привычке, а не по вере.

И он чувствовал... что-то. Не жалость — жалость он давно в себе убил. Не радость — радости не было. Что-то другое. Что-то похожее на... узнавание.

Матвей напоминал ему его самого. Старшего. Ответственного. Верящего.

А Ваня... Ваня напоминал Ксению. Не внешне — характером. Светом. Тем самым светом, который Алексей так любил и который так ненавидел.

Он смотрел на фотографию дочери. Потом на распятие. Потом на нож, лежащий на столике.

— Что скажешь? — спросил он тихо, обращаясь к Тому, Кого не было. Или был. Он уже сам не понимал. — Ты их защитишь? Ты покажешь Себя? Ты докажешь, что я ошибаюсь?

Христос на распятии молчал. Его глаза — вырезанные из дерева, раскрашенные тёмно-коричневой краской — смотрели в никуда.

— Значит, нет, — прошептал Алексей. — Значит, Ты снова промолчишь.

Он взял тетрадь и открыл её на последней странице. Там было чисто. Ещё одна страница. Ещё одно имя. Ещё одно доказательство.

Он начал писать:

«Матвей, 12 лет. Иван, 10 лет. Посёлок Верхнее. Наблюдение — три недели. Приступаю завтра».

Он закрыл тетрадь. Потом встал, подошёл к распятию и снял его со стены. Долго смотрел в лицо Христу — без гнева, без ненависти. С тоской.

— Я хочу, чтобы Ты был, — сказал он. — Правда, хочу. Я хочу, чтобы Ты остановил меня. Чтобы Ты доказал, что Ты есть. Я устал. Я очень устал.

Он повесил распятие на место. Перекрестился — тремя пальцами, как учили в детстве.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Свеча на столике дрогнула. Пламя вытянулось, на миг осветив комнату ярче. И в этом свете Алексею показалось, что тени в углах — густые, живые, шевелящиеся — на мгновение замерли. Как будто слушали. Как будто ждали.

Он усмехнулся.

— Или это Ты? — спросил он в пустоту. — Или это... кто-то другой?

Ответа не было. Только тишина. Та самая, привычная, вечная тишина.

Алексей лёг на топчан, стоявший в углу, и закрыл глаза. Завтра он пойдёт в Верхнее. Завтра он встретится с мальчиками. Завтра он получит ещё одно доказательство.

Или — не получит. И тогда...

Об этом он боялся думать. Потому что если Бог действительно есть — если Он действительно слышит, видит, защищает — то всё, что Алексей делал эти годы, было не экспериментом. Было преступлением. Было безумием.

А признать это означало признать, что он сам — не жертва. А палач.

Он заснул, и ему приснилась Ксения. Она стояла у окна, в белом платье, и смотрела на него. Грустно. Молча.

— Пап, — сказала она. — Зачем?

Он проснулся в холодном поту. За окном было темно. Свеча догорела.

Алексей сел на топчане и обхватил голову руками.

— Я не знаю, — прошептал он в темноту. — Я не знаю.

И в этой темноте — глухой, ватной, мёртвой — ему почудился ответ. Тихий. Детский. Не то плач, не то смех.

Он вздрогнул. Прислушался.

Ничего. Только ветер за окном. Только тишина.

Только тьма, которая смотрела на него из каждого угла.

Глава 3. Исчезновение

Утро началось с вороны.

Матвей проснулся от того, что кто-то стучал в окно. Резко, настойчиво, как будто требовал впустить. Он открыл глаза и увидел на подоконнике птицу — большую, чёрную, с тяжёлым клювом. Ворона сидела неподвижно и смотрела прямо на него. Сквозь стекло. Не мигая.

— Кыш, — прошептал Матвей.

Ворона не двинулась. Только склонила голову набок — медленно, как будто изучая его. И в этом движении было что-то такое, от чего у Матвея по спине пробежал холодок. Не страх. Хуже. Предчувствие.

Он отвернулся. Встал. Подошёл к окну, чтобы прогнать птицу, — но когда снова посмотрел на подоконник, там уже никого не было. Только серое утро. Только туман. Только тишина.

— Показалось, — сказал он себе.

Но осадок остался. Тяжёлый, липкий, как ил на дне болота.

Ваня проснулся сам — сегодня он не стал притворяться, что болит живот. Сидел на кровати, взъерошенный, сонный, и смотрел в стену.

— Матвей, — сказал он.

— Что?

— Мне сон приснился. Страшный.

Матвей натягивал свитер и не обернулся. Не хотел показывать, что ему тоже не по себе. Старший — значит, спокойный. Старший — значит, не боится.

— Какой?

— Как будто я в лесу. Один. И кто-то ходит вокруг. За деревьями. Я не вижу его, но слышу. Он дышит. И... — Ваня замолчал.

— И?

— И он смеётся. Тихо так. Как будто радуется.

Матвей замер. Свитер в его руках натянулся, скрипнул. Он вспомнил ночь — тот тихий, едва различимый смех за окном. Детский. Не то плач, не то смех.

— Это просто сон, — сказал он, и голос его прозвучал ровно. — Сны не сбываются.

— А бабушка говорит, бывают вещи.

— Бабушка много чего говорит.

Ваня поднял на него глаза — серьёзные, без улыбки. И Матвей понял: брат не шутит. Брат боится. По-настоящему боится.

Он подошёл, сел рядом на кровать, обнял за плечи.

— Я тебя не дам в обиду, — сказал он. — Понял? Никому.

Ваня кивнул. Прижался к нему. И на мгновение Матвею показалось, что он держит в руках что-то очень хрупкое. Что-то, что можно разбить одним неосторожным движением.

Бабушка была не такой, как всегда.

Она не перебирала чётки. Не молилась. Сидела за столом, глядя в чашку с чаем, и чай её давно остыл. Лицо у неё было серое, как это утро, и в глазах стояло что-то, чего Матвей раньше не видел. Страх.

— Бабушка? — позвал он.

Она вздрогнула. Подняла голову. Посмотрела на него так, будто увидела впервые.

— Что? А. Да. Садись, ешь.

— Ты себя плохо чувствуешь?

— Нет. — Она покачала головой. — Нет. Просто... — Она замолчала. Потом вдруг сказала, тихо, как будто сама себе: — Сегодня ночью свеча погасла.

— Какая свеча?

— Перед Артемием. — Бабушка перекрестилась. — Я зажгла её вечером. А утром она погасла. Сама. Без ветра. Без ничего.

Матвей не знал, что сказать. Он не понимал, почему это так напугало бабушку. Свечи гаснут. Бывает.

— И что? — спросил он.

Бабушка посмотрела на него долгим взглядом. И в этом взгляде было столько всего — любовь, тревога, боль, — что Матвей невольно отвёл глаза.

— Артемий — отрок, — сказала она. — Он за детей молится. За невинных. Если свеча перед ним гаснет... — Она замолчала. Потом закончила, едва слышно: — Значит, кто-то из детей в беде. Или будет. Скоро.

— Ба, это же просто свеча.

— Может, и просто. — Бабушка встала. Подошла к иконам, зажгла новую свечу. Долго стояла, глядя на образ святого отрока. — А может, и нет. Господи, спаси и сохрани. Господи, спаси и сохрани.

Она повторяла это как заклинание. И Матвей, глядя на её сгорбленную спину, вдруг почувствовал, как что-то холодное, тяжёлое опускается ему на плечи. Как будто невидимая рука легла на них — и сжала.

В школу они пошли в восемь. Туман был такой густой, что дома на другой стороне улицы казались размытыми пятнами. Матвей держал Ваню за руку — крепче, чем обычно. Не потому, что боялся, что тот убежит. А потому, что боялся отпустить.

— Матвей, — сказал Ваня, когда они вышли за околицу. — А почему бабушка такая?

— Не знаю.

— Она испугалась. Я видел.

— Бабушка старая. Она всего боится.

— Неправда. — Ваня дёрнул его за руку. — Она не всего боится. Она Бога боится. И ещё... чего-то. Я не знаю чего.

Матвей не ответил. Он смотрел на дорогу. Поле, затянутое туманом, казалось бесконечным. Ни звука, ни движения. Только их шаги — глухие, ватные, как будто они шли по пеплу.

И вдруг он остановился.

— Что? — спросил Ваня.

— Тихо.

Они замерли. Туман стоял вокруг — плотный, неподвижный. И в этой тишине Матвей услышал то, чего не должно было быть. Шаги. Медленные. Осторожные. Где-то позади. Шаги замерли. Тишина стала ещё глубже — как будто кто-то затаился. Ждёт.

— Матвей, — прошептал Ваня. — Кто это?

— Не знаю. Иди.

Он потянул брата за руку. Быстрее. Шаги возобновились — размеренные, спокойные, как будто тот, кто шёл за ними, не торопился. Знал, что они никуда не денутся. Матвей не оглядывался. Боялся. Если обернётся — увидит. А если увидит — не сможет бежать. Ноги станут ватными, руки ослабнут, и он не сможет защитить Ваню.

Они шли быстро. Почти бежали. Туман расступался перед ними и смыкался за спиной — как вода. Как пасть. Как что-то живое, что пропускает — и закрывается навсегда.

— Матвей, я боюсь, — прошептал Ваня.

— Не бойся. Я с тобой.

— Кто это?

— Никто. Ветер. Птицы. Никто.

Шаги прекратились. Матвей остановился. Прислушался. Тишина. Только ветер в проводах — тонкий, тоскливый. Только туман, стоящий стеной. Только сердце, которое колотилось где-то в горле.

— Ушёл, — сказал он. — Видишь? Никого нет.

Ваня кивнул. Но руку не отпустил. И Матвей чувствовал, как дрожат его пальцы.

Школа была старой, двухэтажной, с облупившейся краской и скрипучими половицами. Здесь пахло мелом, пылью и чем-то ещё — застоявшимся, тяжёлым. Матвей не любил это место. Но сегодня он был рад ему. Здесь были люди. Здесь был свет. Здесь можно было спрятаться.

— Матвей! Ваня!

К ним бежал Димка Сорокин — рыжий, конопатый, вечно взъерошенный. Одноклассник. Единственный, кого Матвей мог назвать другом.

— Вы чего такие? — спросил Димка, останавливаясь. — Как будто привидение увидели.

— Ничего, — буркнул Матвей.

— Ага, «ничего». У тебя лицо белое. — Димка присмотрелся. — Серьёзно, что случилось?

Матвей открыл рот, чтобы ответить, — но не успел. За спиной Димки, у ворот школы, он увидел человека. Высокого. Худого. В тёмном пальто, с поднятым воротником. Человек стоял неподвижно и смотрел прямо на них. На Матвея. На Ваню.

Матвей замер. Сердце пропустило удар. Потом ещё один.

— Матвей? — позвал Димка. — Ты чего?

Он обернулся — посмотреть, на что смотрит Матвей. Но у ворот уже никого не было. Только туман. Только пустота.

— Там... — начал Матвей. — Там был...

— Кто?

Матвей сглотнул. Горло пересохло. Он не знал, что сказать. Не знал, было ли это на самом деле. Может, показалось. Может, игра света. Может, просто нервы.

— Никого, — сказал он. — Показалось.

Но Ваня смотрел на него — и в глазах брата был тот же страх, что и у него самого. Значит, не показалось. Значит, Ваня тоже видел. Значит, это было.

Матвей взял брата за руку и повёл в школу — быстро, не оглядываясь. Он не видел, как за углом здания, в тени, стоял человек в тёмном пальто. Смотрел им вслед. Улыбался. Медленно, одними губами.

День тянулся медленно. Уроки — как в тумане. Матвей сидел за партой, смотрел на доску, но не видел ничего. В голове крутилось одно и то же: лицо человека у ворот. Его взгляд. Его улыбка.

«Кто это был? Что ему нужно? Почему он смотрит на нас?»

Он не находил ответов. Только чувствовал — всем нутром, всей кожей, — что это не случайность. Что это начало. Что что-то идёт. Что-то страшное.

На последней перемене он вышел во двор — подышать. Туман не рассеялся. Он стоял всё такой же плотный, неподвижный, как будто время остановилось. Матвей прислонился к стене, закрыл глаза. Хотел просто постоять. Просто успокоиться.

И вдруг услышал голос. Тонкий, детский. Незнакомый.

— Матвей.

Он открыл глаза. Никого. Только туман. Только пустой двор.

— Матвей, — снова позвал голос. — Послушай.

Голос шёл отовсюду и ниоткуда. Тихий, как шёпот. Ясный, как удар.

— Кто здесь? — спросил Матвей, и голос его дрогнул.

— Я не могу долго говорить, — сказал голос. — Он близко. Он уже здесь. Он хочет вас забрать.

— Кто? Кто нас хочет забрать?

— Тот, кто стоит у ворот. Тот, кто ходит за вами. Он... — Голос запнулся, как будто ему было трудно. — Он делает плохое. С детьми. Он уже делал. Много раз.

Матвей почувствовал, как пол уходит из-под ног. Как будто мир накренился, поехал куда-то в сторону.

— Кто ты? — прошептал он.

— Меня зовут Артём, — сказал голос. — Я... я умер. Пять лет назад. Мне было пять.

Матвей замер. Сердце остановилось. Потом ударило — сильно, больно, где-то в горле.

— Ты... призрак?

— Нет. — Голос стал твёрже. — Я не призрак. Я... я не знаю, кто я. Но я вижу тебя. И Ваню. И его. Он охотится на вас. Как охотился на других.

— Как на других?

— На тех, кто пропал. В лесу. Он их забрал. Всех.

Матвей хотел закричать. Хотел убежать. Хотел проснуться. Но не мог. Тело не слушалось. Тело стояло, прижатое к стене, и слушало — как заморожённое.

— Что мне делать? — спросил он. — Как спастись?

— Я не знаю, — сказал Артём. И в его голосе — детском, тонком — прозвучала такая тоска, такая боль, что Матвей едва не заплакал. — Я не знаю. Я пытался помочь другим. Но он... он сильнее. Он не боится ничего. Даже Бога.

— Даже Бога?

— Он думает, что Бога нет. — Артём замолчал. Потом сказал, тише: — Он ошибается. Бог есть. Но он... он не слышит. Он не хочет слышать.

— А ты? — спросил Матвей. — Ты его слышишь?

— Иногда. — Голос Артёма стал почти неслышным. — Когда молюсь. Но я маленький. Я не умею. Я не знаю слов.

Матвей закрыл глаза. В голове билась одна мысль, навязчивая, отчаянная: «Это сон. Это сон. Это сон».

— Матвей, — позвал Артём. — Он идёт. Сегодня. Ночью. Он придёт за вами.

— Откуда ты знаешь?

— Я видел. Я всегда вижу. — Голос дрогнул. — Он уже приходил за мной. Тогда. Пять лет назад. Я не смог убежать.

Тишина. Долгая. Как будто весь мир замер.

— Артём, — сказал Матвей. — Ты можешь нам помочь?

— Я попробую. — Голос стал тише, как будто удалялся. — Но я не знаю как. Я маленький. Я...

— Артём?

— Я должен идти. Он чувствует меня. Он... он знает, что я здесь. — Голос оборвался. Потом — шёпот, едва различимый: — Молись, Матвей. Как умеешь. Молись.

И всё стихло.

Матвей открыл глаза. Двор был пуст. Туман стоял — плотный, неподвижный. И в этом тумане, в самой его глубине, ему почудилось движение. Тень. Смутная, высокая. Но когда он присмотрелся — ничего. Только серое ничто.

Звонок на урок прозвучал резко, неожиданно. Матвей вздрогнул. Оттолкнулся от стены. Пошёл к дверям — быстро, не оглядываясь. Но в спину ему смотрела тишина. И в этой тишине — он чувствовал — кто-то улыбался.

Вечером он не сказал бабушке ничего. Не сказал и Ване — не хотел пугать. Но когда пришло время ложиться, он сделал то, чего не делал никогда: взял из бабушкиной комнаты свечу. Маленькую, восковую. И иконку — маленькую, карманную, с образом святого отрока Артемия.

Он поставил свечу на подоконник. Зажёг. И сел рядом — смотреть.

Ваня уже спал. Бабушка молилась в своей комнате. Дом был тихим — до звона в ушах. Только свеча горела — ровно, спокойно. И Матвей смотрел на неё, и думал об Артёме. О мальчишке, который умер. Который говорил с ним. Который боялся.

«Он охотится на вас. Как охотился на других».

Матвей сжал иконку в руке. Тёплую — от его собственного тепла. Деревянную. Простую.

— Артемий, — прошептал он. — Святой отрок. Если ты есть... если ты слышишь... помоги. Пожалуйста.

Свеча дрогнула. Пламя вытянулось, стало ярче. И на мгновение Матвею показалось, что в комнате стало теплее. Как будто кто-то невидимый встал рядом. Защищая.

Он закрыл глаза. И впервые за этот день почувствовал, что не один.

За окном, в темноте, на опушке леса, Алексей смотрел на маленький огонёк, горящий в окне дома.

Свеча. Ребёнок зажёг свечу.

Он усмехнулся. Это было даже забавно. Как будто свеча могла его остановить. Как будто свет мог его испугать.

Он знал: сегодня ночью он войдёт в этот дом. Возьмёт мальчиков. И никто — ни бабушка, ни свеча, ни Бог — не сможет ему помешать.

Он достал из кармана тетрадь. Открыл на последней странице. Посмотрел на имена.

«Матвей, 12 лет. Иван, 10 лет».

Взял карандаш. Приписал:

«Сегодня».

И спрятал тетрадь обратно. Потом посмотрел на дом — на маленький огонёк, дрожащий в темноте. И вдруг — сам не зная почему — перекрестился.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Слова вышли сухими, мёртвыми. Но он всё равно их сказал. Как всегда. Как ритуал. Как насмешку.

А потом пошёл к дому. Медленно. Не торопясь.

Он знал: они никуда не денутся.

Глава 4. Подвал

Свеча догорела в третьем часу ночи.

Матвей не спал. Он сидел на кровати, привалившись спиной к стене, и смотрел, как воск оплывает, как фитиль чернеет, как пламя слабеет — и наконец гаснет. Тонкая струйка дыма поднялась вверх, к потолку, и растворилась в темноте.

Стало черно. Так черно, как бывает только в деревне, где нет фонарей, где нет ничего, кроме тьмы — густой, осязаемой, живой.

Матвей сжал в руке иконку. Дерево было тёплым. Он держал её так, что края впивались в ладонь, и это помогало не заснуть. Нельзя спать. Нельзя.

«Он придёт сегодня. Ночью».

Он ждал. Минуты текли медленно, как смола. Ваня сопел за перегородкой — спокойно, безмятежно. Бабушка в своей комнате больше не молилась. Тишина стояла такая, что Матвей слышал собственное сердце — глухие, тяжёлые удары, отдающиеся в ушах.

Он не знал, сколько прошло времени. Час? Два? Глаза слипались, голова клонилась вниз. Он щипал себя за руку, кусал губу, но сон подступал — мягкий, тёплый, неумолимый.

И тогда он услышал.

Скрип.

Тихий, почти неслышный. Где-то в доме. Как будто половица прогнулась под чьим-то весом. Осторожно. Медленно.

Матвей замер. Сердце пропустило удар. Потом ещё один. Он прислушался — весь обратился в слух, в напряжённую струну. Тишина. Может, показалось? Может, дом оседает? Может, мышь?

Скрип повторился. Ближе. Уже не половица — дверь. Входная дверь. Она открывалась медленно, с тягучим, протяжным стоном. Кто-то вошёл в дом.

Матвей не мог дышать. Воздух стал густым, как вода. Он хотел закричать — разбудить Ваню, бабушку, — но горло сжалось, и ни звука не вышло. Только хрип. Только выдох.

Шаги. Медленные. Уверенные. По коридору. Мимо бабушкиной комнаты. К ним.

Матвей соскочил с кровати. Ноги дрожали, но он заставил себя двигаться. Подбежал к перегородке, за которой спал Ваня, — и увидел, что брат уже сидит. Глаза широко раскрыты. Лицо белое. Он тоже слышал. Он тоже понял.

— Матвей... — прошептал Ваня.

— Тихо.

Матвей оглянулся. Окно. Второй этаж — высоко, но можно попробовать. Он рванулся к окну, дёрнул раму — та не поддалась. Заколочена? Нет. Заклинила. Старая, разохшаяся, крашенная в несколько слоёв. Он дёргал, тянул, рвал — бесполезно.

Шаги остановились. Прямо за дверью.

Матвей обернулся. Ваня смотрел на него — и в глазах брата был такой ужас, что Матвей почувствовал: сейчас, в эту секунду, решается всё. Или он защитит. Или...

Дверь открылась.

Она не распахнулась — просто медленно, без скрипа, отворилась внутрь. И в проёме, в темноте, стоял человек. Высокий. Худой. Тёмный силуэт, почти неразличимый — только глаза. Глаза, которые смотрели на них. Спокойно. Внимательно. Как смотрят на что-то, что давно ждали.

— Здравствуйте, — сказал человек. Голос у него был тихий, вежливый. Почти ласковый. — Не бойтесь. Я не сделаю вам больно.

Матвей отступил на шаг. Закрыв собой Ваню. Руки дрожали. Но он стоял. Стоял, потому что должен был.

— Кто вы? — спросил он. Голос сорвался, но он всё равно говорил. — Что вам нужно?

Человек сделал шаг в комнату. Света не было, но Матвей видел его лицо — серое, длинное, с глубокими тенями под глазами. Он улыбался. Мягко. По-доброму.

— Мне нужно, чтобы вы пошли со мной, — сказал он. — Это ненадолго. Я хочу вам кое-что показать.

— Мы никуда не пойдём, — сказал Матвей.

— Пойдёте.

Человек шагнул вперёд — и в его руке блеснуло что-то. Длинное. Тонкое. Нож. Матвей увидел лезвие — холодное, острое, — и кровь застыла в жилах.

— Не надо, — сказал человек, всё так же мягко. — Я не хочу, чтобы было больно. Ни тебе, ни брату. Ни бабушке. — Он посмотрел куда-то в сторону бабушкиной комнаты. — Она ведь старенькая. Ей будет тяжело. Зачем нам это?

Матвей понял. Понял всё сразу — и то, что этот человек не шутит, и то, что он сделает то, о чём говорит, и то, что выбора у них нет. Если он закричит, если позовёт бабушку, если попробует драться — будет хуже. Будет кровь. Будет то, чего он не сможет вынести.

— Матвей, — прошептал Ваня за его спиной. — Не надо. Не ходи.

Матвей обернулся. Посмотрел на брата. На его испуганное лицо, на дрожащие губы, на руки, которые цеплялись за одеяло. И вдруг — в этом ужасе, в этой темноте — он почувствовал что-то странное. Спокойствие. Не храбрость. Не силу. Просто знание: он должен идти. Иначе Ваня пострадает.

— Мы пойдём, — сказал он. — Только не трогайте бабушку.

Человек кивнул. Улыбка стала шире.

— Молодец. Умный мальчик. — Он отступил в сторону, пропуская их. — Идите впереди. По лестнице. Тихо.

Матвей взял Ваню за руку. Пальцы брата были ледяными. Он сжал их крепче — так крепко, как только мог. И шагнул в темноту.

Он не оглянулся. Не мог. Если бы оглянулся — увидел бы бабушкину комнату, дверь, за которой она спала, не зная, что происходит. И тогда, наверное, не смог бы уйти. Упал бы на колени. Заплакал. Завыл.

Он не оглянулся. Он шёл вперёд — в темноту, в неизвестность, в страх. И Ваня шёл рядом. И человек в тёмном пальто — за спиной. Дыша им в затылки. Молча.

На улице было холодно. Туман стоял такой плотный, что даже собственные руки казались чужими — размытыми, призрачными. Матвей не видел, куда идёт. Только чувствовал под ногами мокрую траву, потом — дорогу, потом — снова траву.

Они шли через поле. К лесу. К той самой опушке, где вчера — или это было сегодня? — Матвей видел огонёк. Где стоял человек. Где всё началось.

Ваня всхлипывал. Тихо, едва слышно. Матвей сжимал его руку и шептал:

— Тихо. Тихо. Я здесь.

Человек не мешал им. Шёл позади, молча, как тень. Как будто был частью этой ночи. Частью этого тумана. Частью страха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.